

## Подводя итоги (Г. Левенфиш)

В богатой личностями шахматной истории 20-го века его имя можно найти разве что в подстрочниках. Ценимое редкими знатоками, оно сохранилось в памяти лишь нескольких людей, но не в коллективной памяти, и сегодня почти забыто. Он не был чемпионом мира, не был никогда и претендентом на это звание. Более того, количество международных турниров, в которых он принял участие, можно в буквальном смысле пересчитать по пальцам одной руки. Но не всегда очки и титулы являются единственным критерием силы и таланта. Ласкер и Капабланка считали его сильнейшим после Ботвинника шахматистом в Советском Союзе. Смыслов и Бронштейн, Корчной и Спасский, вспоминая о нем, употребляют эпитеты «незаурядный», «замечательный», «выдающийся». И сегодня, оглядываясь на события более чем полувекковой давности, они, чемпионы и вице-чемпионы мира, говорят о нем как о человеке из своей когорты. В духовном же смысле — как о личности неординарной, человеку высокоэрудированном, резко выделявшемся на фоне серой конфор-мирующей массы. И собирая сейчас по крупицам память о событиях и людях того века, смотришь по-другому на многих и многое, казавшееся тогда старомодным, незначительным и ушедшим навсегда.

Григорий Яковлевич Левенфиш родился 19 марта 1889 года в городе Петрокове (ныне Пётркув-Трыбунальский) в Польше, входившей тогда в состав Российской империи, в небольшого достатка еврейской семье. Детские и юношеские годы его прошли в Люблине, здесь он сыграл первые шахматные партии. В 1907 году, после окончания гимназии, он приезжает в Петербург, где поступает в престижный Технологический институт. В Петербурге же Левенфиш успешно выступает в ряде турниров. В 1911 году в Карлсбаде становится мастером. В 10-30-е годы он — один из сильнейших шахматистов страны. Дважды выигрывает первенства Советского Союза, девятое (1934/35) и десятое (1937). Сведя вничью в том же году матч с Ботвинником, он отстоял звание чемпиона страны, за что ему было присвоено звание гроссмейстера СССР. С 1950 года он — международный гроссмейстер. Умер Левенфиш в 1961 году. Так выглядит внешняя канва его биографии.

Он не раз повторял: «Я должен рассказать о том, что, кроме меня, не знает никто». Незадолго до смерти закончил книгу воспоминаний. Эпиграфом для нее он избрал слова Моэма из книги «Подводя итоги»: «В молодости годы тянутся перед нами бесконечно длинной вереницей, и трудно осознать, что они когда-нибудь минуют. Даже в среднем возрасте легко найти предлог, чтобы не делать того, что следовало бы выполнить. Но наконец наступает время, когда требует к себе внимания смерть. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны, но это, в сущности, остается для нас афоризмом и абстракцией, пока мы не осознаем, что по ходу вещей и наш конец не за горами... Было бы досадно умереть, не написав этой книги». Но продолжим цитату: «Закончив ее, я смогу безмятежно смотреть в будущее — труд моей жизни будет завершен». Левенфиш не включил эту фразу в эпиграф, вероятно, зная уже: в его случае это будет, увы, не так.

«Вы знаете, Дэвик, что они со мной сделали? — в отчаянии воскликнул Левенфиш, встретив Бронштейна в издательстве «Физкультура и спорт». — Они вычеркнули у меня половину книги, всё самое острое и интересное!» Но и в таком изуродованном виде увидеть свою книгу автору не было суждено: ее издали только через шесть лет после его смерти. Попытки Бронштейна разыскать впоследствии рукопись ни к чему не привели — она бесследно исчезла.

Левенфиш писал книгу на закате дней, в возрасте, когда вся жизнь кажется одним очень

коротким прошлым, а прошлое неотъемлемой частью настоящего. Впрочем, есть ли что-нибудь реальнее того, что бережно хранится в памяти? Очевидно, однако, что даже в те относительно либеральные хрущевские времена он не мог погружаться в свою жизнь с откровенностью, обязательной для тех, кто решил на всегда тяжелое и грустное занятие подведения итогов.

Попробуем мы. Какая ни есть — осталась книга. Живы еще люди, хоть их и немного, помнящие его. Наконец, остались партии, переиграв которые можно составить впечатление о том, каким шахматистом был Григорий Яковлевич Левенфиш.

Его студенческие годы совпали со временем, которое в России принято называть Серебряным веком. Без сомнения, годы эти для Левенфиша явились лучшими в жизни, и не только потому, что это была молодость, избыток жизненных сил; они были наполнены всем, что могла предложить тогда авангардная Россия: концертами, выставками, спектаклями. И городом, который, как он сам скажет впоследствии, на него, «жителя тихой провинции, произведет ошеломляющее впечатление» и в котором он проживет почти всю жизнь. И шахматами.

Шахматный кружок в Технологическом институте считался одним из сильнейших в Петербурге. В него входил и Василий Осипович Смыслов — отец будущего чемпиона мира и сам сильный шахматист.

Жизнь в столице студента из провинции была на первых порах очень нелегкой. Подспорьем служили шахматы. Левенфиш давал уроки богатым любителям игры. Позже он вспоминал: «Как-то, рискуя потерять клиента, но мучимый угрызениями совести, я признался купцу, которому давал уроки шахмат из расчета рубль за урок — немалая сумма по тем временам: "Василий Митрофанович, сильного игрока из вас не получится, да и платите вы мне слишком много..." В ответ на что последний осадил молодого студента: "Да чего там, вчерась вечером в купеческом клубе 300 рублей выиграл"».

В феврале 1909 года на турнире памяти Чигорина двадцатилетний Левенфиш, затаив дыхание, следит за партиями Ласкера, Шлехтера, Рубинштейна, Тейхмана, Дураса. А вскоре он играет свою первую в жизни партию с часами. Его соперником оказался студент Консерватории, которому прочили блестящее будущее. Это был Сергей Прокофьев. Левенфиш заметно усиливается, и через два года на турнире в Карлсбаде становится мастером. Там же играл молодой Алехин, которого Левенфиш уже хорошо знал: окончив гимназию в Москве, Алехин переехал в Петербург и поступил в привилегированное Училище правоведения. Вплоть до 1914 года Левенфиш был постоянным партнером Алехина, они сыграли не одну турнирную и множество легких партий.

Григорий Левенфиш: «Такого интересного партнера, как Алехин, я не встречал за всю свою жизнь. Играл Алехин с большим нервным напряжением, непрерывно курил, все время дергал прядь волос, ерзал на стуле. Но это напряжение удивительным образом стимулировало работу мозга. Богатство идей в творчестве Алехина общеизвестно. В легких, неотвественных партиях оно проявлялось, мне кажется, еще ярче. Перевес в наших встречах был на стороне Алехина. Малейшее ослабление внимания влекло за собой тактическую выдумку моего партнера, и исход партии не вызывал сомнений. Алехин обладал феноменальной шахматной памятью. Он мог восстановить полностью партию, игранную много лет назад. Но не менее удивляла его рассеянность. Много раз он оставлял в клубе ценный портсигар с застежкой из крупного изумруда. Через два дня мы приходили в клуб, садились за доску. Появлялся официант и как ни в чем не бывало вручал Алехину портсигар. Алехин вежливо благодарил...»

Первая мировая война, потом революция в России, гражданская война... Левенфиш стал свидетелем событий, во многом определивших ход мировой истории. Событиям этим в своих мемуарах он посвятит всего несколько строк, но они как бы подвели черту первого периода его жизни: «В бурные военные и революционные годы немало пришлось пережить. Я работал на военных заводах, а иногда оставался совсем без работы. В 1917 году скорострительно умерла моя жена. О шахматах, конечно, нельзя было и думать».

Ему было двадцать восемь лет. Начался второй период его жизни. В книге Моэма, строки из которой Левенфиш взял для своего эпитафия, можно найти и другие: «Мы живем в эпоху быстрых перемен, и возможно, что я увижу еще западные страны под властью коммунизма... Если то, что произошло в России, повторится у нас, я постараюсь приспособиться, а уж если жизнь покажется мне совсем невыносимой, у меня, я думаю, хватит мужества уйти со сцены, на которой я больше не мог бы играть свою роль так, как мне нравится». Красивые слова, конечно. Другие, безыскусные — «я оставался в живых», сказанные в далекую, но тоже полную бурь эпоху, стали ориентиром для Левенфиша на долгие годы. Он стал гражданином Советской республики, географически размещавшейся на территории России, где он жил раньше, но на этом сходство и заканчивалось.

Если отрешиться от мрачной мысли, что карты перетасованы заранее и человек имеет лишь иллюзию свободы выбора и что бы он ни выбрал, всё заранее предопределено, будущее всегда выглядит как набор возможностей. Отсутствие выбора означает обреченность. Свобода выбора сузилась тогда не только в смысле перемещения в пространстве, но главное — тоталитарное государство вмешивалось во все аспекты жизни, подчиняя каждого человека своим правилам и законам. Единственной возможностью сохранить индивидуальность было то, что французы называют *gester soi-meme*. Но оставаться самим собой было непросто: для того чтобы отстаивать свою духовную независимость, требуется мужество в любом обществе, но многократно требовалось оно при строе, установившемся тогда в России.

Хотя Левенфиш формально и не подпадал под категорию «буржуй», фактически он был им в глазах тех, кто пришел теперь к власти. Александр Блок писал в те годы: «Буржуйем называется всякий, кто накопил какие бы то ни было ценности, хотя бы и духовные». Слова прокурора Николая Крыленко (который вскоре возглавит советские шахматы) на одном из первых процессов в 1920 году звучали приговором его кругу людей: «Существовал и продолжает существовать еще один общественный слой, над социальным бытием которого давно задумываются представители революционного социализма. Этот слой - так называемой интеллигенции... В этом процессе мы будем иметь дело с судом истории над деятельностью русской интеллигенции».

Многие из его коллег ушли в эмиграцию. Сладкого счастья свободы, а иногда и пыльного хлеба эмиграции Левенфиш не вкусил никогда. Он остался. Что бы он делал, если бы покинул страну?

Играл бы в шахматы, как Алехин и Боголюбов? Совмещал бы игру с журналистикой, писанием книг, как это делали Тартаковер и Зноско-Боровский? Или, работая по специальности, как Осип Бернштейн, играл бы в турнирах время от времени?

В феврале 1924 года в советскую Россию приезжает Ласкер. В Ленинграде он дает два сеанса одновременной игры и играет серию показательных партий. В одной из них его соперник — Левенфиш, которого Ласкер помнит еще по Петербургу. Григорий Яковлевич прекрасно говорит по-немецки, и они проводят немало времени вместе. В следующем году они встретятся

снова — на Первом международном турнире в Москве. В глубоком эндшпиле Ласкер ошибается, теряет важный темп, и Левенфиш добивается победы.

Незадолго до этого турнира Левенфиш получил письмо от Алехина, эмигрировавшего в 1921 году и уже несколько лет живущего во Франции: «Многоуважаемый Григорий Яковлевич! Очень рад было получить Ваше письмо и также жалею, что не придется с Вами повидаться на московском международном турнире. Впрочем, может быть, Вы соберетесь на какой-либо международный турнир за границей в будущем году? Не сомневаюсь, что при заблаговременном оповещении Ваше участие будет обеспечено в любом турнире, во-первых, потому, что Вас лично любят и ценят, во-вторых, потому, что в настоящий момент русское шахматное искусство на международном рынке котируется особенно высоко. Тогда, надеюсь, нам удастся после долгого перерыва лично свидеться». Но свидеться им не довелось. Путь на родину Алехину был заказан, в турнирах же вне ее Левенфиш не играл никогда.

В 20—30-х годах в Ленинграде было три мастера еще дореволюционной огранки, три мэтра, которые определяли шахматную жизнь города: Романовский, Илья Рабинович и Левенфиш, причем по силе игры Левенфиш превосходил обоих и пользовался огромным авторитетом. Недаром Романовский посвятил ему свою книгу «Пути шахматного творчества», вышедшую в 1933 году. Левенфиш мог выступить в турнире и неудачно, но его колоссальная эрудиция и тонкое понимание игры были общеизвестны. Не случайно Толуш сказал однажды мастеру Ровнеру: «Левенфиш может сыграть как угодно, но все равно понимает он в шахматах больше всех нас».

Свою первую встречу с ним Володя Зак запомнил на всю жизнь и нередко рассказывал об этом в лицах. В клубе советских служащих Петр Арсеньевич Романовский подвел его, робеющего, к столику, за которым играл блиц Левенфиш:

Познакомьтесь, Григорий Яковлевич, это — Володя Зак.

Как же, как же... — отвечал Левенфиш, не отрываясь от игры.

— Володя подает большие надежды...

— Знаю, знаю, — продолжал маэстро, делая ход, - Володя Зак, сын старого Зака...

В 1926 году в командных соревнованиях профсоюзов Левенфиш играет с застенчивым худеньким подростком с не по возрасту серьезным взглядом из-под круглых роговых очков. Это Миша Ботвинник. У него уже первая категория, что совсем немало по тем временам, к тому же в прошлом году в сеансе он разгромил самого Капабланку. Партия длится недолго: Левенфиш разыгрывает дебют совсем не по теории, развивает коня через b6 на f5 и наносит удар на d4. На 16-м ходу всё было кончено... Эту партию Ботвинник запомнит, он вообще был не из тех, кто что-либо забывает. Думал ли тогда Левенфиш, что этот юноша через пять лет станет чемпионом СССР и что конфронтацией с ним будет отмечен весь его жизненный путь?

Левенфиш крестился в 1913 году, иначе был бы невозможен его брак с Еленой Гребенщиковой, дочерью статского советника. Герш-лик (Генрих) стал Григорием, Григорием Яковлевичем и таковым остался на всю свою жизнь. Среди разнообразной гаммы оттенков отношения евреев к своей национальности Левенфиш занимал позицию, очень схожую с пастернаковской. Крещеный еврей, петербуржец по духу, он был равнодушен и к вопросам религии, и к вопросам национальной принадлежности, растворившись полностью в русском языке,

культуре, образе жизни, принятом в России.

Высокий, представительный, в очках, замкнутый, с виду настороженный и недоступный, почти для всех саркастичный и даже язвительно-желчный, Левенфиш на самом деле был жизнерадостным и остроумным человеком. Для тех немногих, кто знал его близко и был близок ему, - отзывчивым и мягким. По-старомодному вежливым и галантным с женщинами, к улыбкам которых был равнодушен всю жизнь. Меломан и друг музыкантов, он был очень эмоционален и азартен. Его нередко можно было увидеть за карточным столом.

Вспоминает писатель Леонид Финкельштейн, уже долгое время живущий в Лондоне: «Левенфиш приходил к нам по вечерам, красивый, пахнувший одеколоном, безупречно одетый. Я следил за ним с восхищением, а однажды даже, набравшись храбрости, предложил ему сыграть в шахматы. Он отверг мое предложение вежливо, но решительно, однако в матче Левенфиш — Илья Рабинович я все равно болел за него. Перед тем как сесть за игру, он обычно выпивал рюмку водки и закусывал бутербродом с семгой. Мой отец — профессор математики и его коллеги были партнерами Григория Яковлевича по карточной игре — преферансу или вину. Я спал здесь же, конечно, в той же комнате обычной ленинградской коммунальной квартиры. Яркий свет от лампы с абажуром нисколько не мешал мне, и я не просыпался, когда они расходились глубокой ночью, а иногда и под утро».

Но в отличие от своего сверстника Савелия Тартаковера, немало времени проводившего в казино, Левенфиша, как мне кажется, влек к картам не только элемент умственной борьбы и азарт игрока. Для людей его поколения и той же культурной среды встречи за карточным столом, контакт друг с другом были одной из немногих возможностей уйти от мрачной повседневности в свой, другой мир. От действительности, где не было свободы высказывания, к чему они были приучены раньше, — в мир, куда не было доступа тоталитарному государству, не научившемуся еще контролировать мысль. С ними случился своего рода анабиоз, бывающий у рыб зимой; так и они, стараясь не думать о том, что происходит вокруг, говорили карточными терминами или о ничтожных вещах, похоронив внутри себя совсем другое. Для того чтобы выжить, они должны были или конформировать, или мимикрировать, и не было готовых рецептов, как достойно прожить жизнь в то страшное время. Конформизм означал потерю души, мимикрия же приводила к перениманию черт и черточек, привычек и обычаев окружающей среды. Может быть, поэтому, когда я застал еще людей этого сорта в 60-х годах, они не казались мне инопланетянами, а выглядели обычными людьми, разве что с вкраплениями чего-то, на чем невольно останавливался взор и слух, привыкшие к серости и однообразию.

Во время московских международных турниров Левенфиша не раз можно было увидеть с Капабланкой за игрой в теннис. Высокий, элегантный, в белом теннисном костюме, он появлялся на корте в ту пору, когда этот спорт был действительно элитарным, особенно в Советском Союзе. Там предпочитали парады физкультурников, показательные воздушные праздники в Тушино, массовые забеги, оздоровительные упражнения в Парках культуры и отдыха или футбольные матчи «Динамо» — ЦДКА.

Он не был безразличен к вину. Но не в том глобальном саморазрушительном смысле, что было характерно, например, для Алехина; для него это было скорее отношение знатока, гурмана, ценителя. В подготовке к матчу с Ботвинником в 1937 году принимал участие московский мастер Сергей Белавенец. Проводилась она в Крыму, в Коктебеле. «Мы располагались днем на пляже и принимались за анализы, — вспоминал потом Левенфиш. — В перерывах мы погружались в морские волны. В такой обстановке не могло быть и речи о "сухих" анализах».

Хотя, кто знает, быть может, отношение к вину было у него сродни отношению китайского философа, много веков назад прибегавшего к вину, чтобы размочить сухой ком, который всегда стоял у него в горле. В состоянии транса, впрочем, в то время можно было впасть, и не прибегая к алкоголю. Известно ведь, что Сократ мог выпить сколько угодно вина, но хмелел от самой обыкновенной лжи.

В период с 1926 по 1933 год Левенфиш почти не выступает в соревнованиях. Эпизодическую игру в турнирах он пытается совместить с работой по специальности. Это логически вытекало из решения, принятого еще в декабре 1913 года, когда Левенфиш, принимая участие в мастерском турнире, отборочном к большому Петербургскому турниру, по ночам готовил защиту дипломного проекта в институте.

Он был химиком, специалистом по стеклу, а в шахматах оставался любителем, «аматёром». Слово это, поначалу имевшее один только смысл — «тот, кто любит», — приобрело постепенно некоторый негативный оттенок, особенно в устах шахматных профессионалов. Тогда же, в начале 30-х, молодые советские мастера, уже отдававшие львиную долю своего времени шахматам, смотрели на Левенфиша примерно так же, как профессионалы Запада - на Эйве, который стал чемпионом мира, не оставляя при этом работу учителя математики в лицее. Впоследствии сам Левенфиш скажет: «При современном уровне развития шахмат поддерживать свою технику на должной высоте можно лишь при одном условии: заниматься только шахматами. Падение класса неизбежно при отсутствии практики и не может быть компенсировано домашней аналитической работой». И все же долго, очень долго он не хотел уходить в шахматы, пытаясь комбинировать игру с основной работой. Конечно, он не хотел покидать тот круг профессорско-преподавательской среды петербургской интеллигенции, который сложился в городе в первое десятилетие советской власти, — его круг. Круг людей, пытавшихся, как и он, удержаться на маленьком островке русской культуры, уже размытом и погибающем.

Но не это, как мне кажется, было главное. Любя шахматы и во многом живя ими, он не хотел посвятить жизнь исключительно игре, полагая такое решение верным только для немногих избранных. Это пришло еще из 19-го века, когда шахматы были скорее развлечением, интеллектуальной забавой наряду с главным, серьезным занятием и не могли и не должны были быть профессией. Ласкер писал: «Конечно, шахматы, несмотря на их тонкое и глубокое содержание, являются лишь игрой и не могут требовать к себе такого же серьезного отношения, как наука и техника, которые служат насущным потребностям общества; еще менее их можно сравнивать с философией и искусством». Незадолго до смерти Чигорин говорил своим близким: «К чему вообще шахматы? Если это удовольствие, то оно должно проходить как развлечение, после трудовых часов. Ведь нельзя же заполнять свою жизнь интересом к игре, изгнав всё прочее. Посмотрите на иностранцев: тот — доктор, тот — профессор, тот — издатель... Работают и играют. А я?»

Такое отношение было характерно и ко многим другим видам творческой деятельности. «У меня музыка — отдых, потеха, блажь, отвлекающая меня от прямого моего настоящего дела — профессуры, лекций», — писал Александр Бородин, тоже химик по профессии.

«Связь, которая объединяет человека со своей профессией, может быть сравнима с той, которая связывает его со своей страной; она также многосторонняя и иногда противоречива, и становится понятной только тогда, когда прерывается: ссылкой или эмиграцией в случае проживания в стране, уходом на пенсию - в случае профессии. Я оставил профессию химика уже пару лет, но только сейчас чувствую, скольким я обязан ей и как много ей благодарен. Я

хотел бы сказать еще, какими преимуществами я обладаю благодаря ей и какое отношение она имеет к моей новой профессии — писательству. Я должен сразу уточнить: писательство — это не настоящая профессия или, по моему мнению, не должно быть таковым — это скорее творческая деятельность», — полагал замечательный итальянский писатель Примо Леви, после того как окончательно оставил свою основную профессию химика. Вероятно, что-то похожее чувствовал и Левенфиш по отношению к шахматам. Однако на этом сходство и кончается. Если у Леви это решение было осознанным актом, в случае Левенфиша оно было скорее вынужденным.

Авария на железной дороге, вызванная несработавшим семафором, была расценена как вредительский акт. Левенфиш был взят в тот же день и выпущен только после многочасового допроса в ГПУ. Поданная за несколько месяцев до происшествия докладная об изменении технологического процесса производства стекла спасла его от тюрьмы. Но надолго ли? Само слово «специалист», или «спец», было почти равнозначно слову «вредитель». Сообщениями о судах над «саботажниками» и «вредителями» были наполнены все газеты того времени. На закончившемся в 30-м году процессе «Промпар-тии», руководство которой обвинялось в том, что получало секретные инструкции от Пуанкаре и Лоуренса Аравийского с целью расшатать индустриальную мощь Страны Советов и подготовить почву для иностранной агрессии, государственный обвинитель Крыленко говорил: «Я твердо уверен, что небольшая антисоветская прослойка еще сохранилась в инженерных кругах... В эпоху диктатуры и окруженные со всех сторон врагами, мы иногда проявляли ненужную мягкость, ненужную мягкосердечность...» Тогда же он писал: «Для буржуазной Европы и для широких кругов либеральствующей интеллигенции может показаться чудовищным, что Советская власть не всегда расправляется с вредителями в порядке судебного процесса. Но всякий сознательный рабочий и крестьянин согласится с тем, что Советская власть поступает правильно».

Левенфиш принимает решение: он полностью уходит из химии. Начинается его карьера профессионального шахматиста.

Шахматы, в которых он очутился, были совсем не похожи на те, в которые он играл когда-то в Петербурге или в Карлсбаде. Друзьями и шахматными коллегами его молодости были: барон фон Фрей-ман — участник и призер многих турниров, оказавшийся после революции в Средней Азии, и барон Рауш фон Таубенберг — один из сильнейших игроков университета, долгое время державшийся на плаву в советской России, но угодивший в конце концов в карагандинский лагерь. Профессор Борис Михайлович Коялович, принимавший экзамен по математике еще у студента Левенфиша. Петр Потемкин — поэт и шахматист, эмигрировавший после революции, кружок его имени до сих пор существует в Париже; именно Потемкину обязана своим девизом «Gens una sumus» Международная шахматная федерация. Сергей Прокофьев, страстно любивший шахматы. Киевлянин Федор Богатырчук, регулярно наезжавший в Петербург, впоследствии один из сильнейших шахматистов Советского Союза; после Второй мировой войны жил в Канаде.

Теперь же появилось новое поколение, генетически связанное с советской властью. Его признанный лидер Михаил Ботвинник, уже ставший чемпионом страны, писал в те дни: «Задача, поставленная Крыленко в 20-е года перед советскими шахматистами, успешно решалась — выросло молодое поколение советских мастеров». В их глазах Левенфиш был уже стариком. Надо ли говорить, что и теннис, и знание иностранных языков, манера одеваться и говорить, весь его облик только подчеркивали разницу между ним и этим новым поколением. У всех появилось высшее образование; оно, разумеется, не шло ни в какое сравнение с

дореволюционным, не говоря уже об общей культуре и общем уровне. Известно ведь, что никакое высшее образование не заменит начального, а в молодой Стране Советов первым пытались прикрыть недостатки второго. Бедствие среднего вкуса может быть хуже бедствия безвкусицы — об этом размышлял доктор Живаго, и Левенфишу тоже было с чем сравнивать.

Конечно, всегда, во все времена молодежь считала, что для уходящих со сцены игра уже закончена. Но теперь к естественному процессу смены поколений примешивался еще и ярко выраженный политический оттенок. В глазах комсомольцев и тем более людей, стоявших во главе советских шахмат, Левенфиш был из «бывших». В лучшем случае он был «попугчиком», но всегда, даже когда обрел какие-то внешние черты советского человека, оставался «не наш». Теперь пришло их время - Молодых строителей нового мира, рвущихся догнать и перегнать шахматистов буржуазных стран под звуки зовущей вперед песни:

Всё выше, выше и выше Стремим мы полет наших птиц, И в каждом пропеллере дышит Спокойствие наших границ.

Уверенные и напористые, они не знали сомнений ни в чем, и в этом движении вперед их поддерживало молодое, такое удивительное государство, которое, казалось, возводится на века.

Нам нет преград ни в море, ни на суше, Нам не страшны ни льды, ни облака. Пламя души своей, знамя страны своей Мы пронесем через миры и века.

Журнал «Шахматы в СССР» писал в 1936 году: «Советский шахматный стиль, как это уже общеизвестно, отличается агрессивностью... Разве вообще для советского стиля не характерна прежде всего борьба? Советский стиль — это стахановское движение. А стахановское движение - это борьба и победа. Сталин требует побед! И стахановцы борются и побеждают. Побеждают, овладевая техникой. Техника — их орудие. Также и в шахматах теория игры, все знания и принципы — это орудие борьбы. Шахматная теория, шахматные анализы и комментарии, шахматная композиция — всё это играет служебную и подчиненную роль по отношению к основному в шахматах — шахматной партии, которая есть не что иное, как борьба». Трескучая фразеология с очевидным агрессивным оттенком, перенесенная в шахматы, присутствовала всегда и в речах наркома юстиции Николая Крыленко. «Мы должны раз и навсегда покончить с нейтралитетом шахмат. Мы должны раз и навсегда осудить формулу "Шахматы ради шахмат" как формулу "Искусство для искусства". Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленное выполнение пятилетнего плана по шахматам», — провозглашал он.

Крыленко был одиозной фигурой, доктринером и фанатиком, но страстно любил шахматы и альпинизм. Еще до революции он окончил два университета: Петербургский (историко-филологический факультет) и Харьковский (юридический). Решением Ленина тридцатидвухлетний прапорщик был назначен Верховным главнокомандующим и наркомом по военным делам. С 1924 года и до ареста в

1938-м он стоял во главе советских шахмат, которые ему обязаны очень многим. «Главковерхом советской шахматной школы» называл его Ботвинник. В одном из номеров журнала «64. Шахматы и шашки в рабочем клубе» за 1927 год был напечатан призыв о сборе взносов на постройку самолета, названного именем Крыленко.

Во время Третьего московского турнира он писал: «Пусть знает буржуазия всего мира и все ее прихвостни внутри и вне нашей страны: у нас не дрогнет рука, чтобы беспощадно раздавить



извивающуюся гадину контрреволюции, стереть с земли всякого, кто посмеет стать на дороге нашего планового социалистического строительства». Крыленко был казнен в годы Большого террора, но до этого сам отправил на эшафот тысячи невинных людей. «Бритая голова с резкими чертами лица, пронизательные глаза, свободная, небрежная речь с аристократическим грассированием, неизменные френч и краги — таков был внешний облик одного из популярных соратников Ленина. Добрый, справедливый, принципиальный и шахматы любил безумно». Таким запомнился Крыленко Ботвиннику. Но не всем. В 1918 году в Москве он произвел на Брюса Локкарта, впоследствии замминистра иностранных дел Великобритании, впечатление «дегенерата-эпилептика», а Иванов-Разумник, сидевший с Крыленко в 38-м в одной тюремной камере, называет его «пресловутым и всеми презираемым Народным комиссаром юстиции», вспоминая, что и место ему было отведено соответствующее: под нарами...

Своего идеологического пика шахматы достигли в 1936 году, когда «Правда» посвятила передовую статью победе Ботвинника в Ноттингеме. Газета писала: «Единство чувств и воли всей страны, огромная забота о людях советской власти, коммунистической партии и прежде всего товарища Сталина — вот первоисточники побед советской страны, будь это в области завоевания воздуха, на спортивных стадионах Чехословакии или за шахматными столиками Ноттингема. Сидя за шахматным столом в Ноттингеме, Ботвинник не мог не чувствовать, что за каждым движением его деревянных фигурок на доске следит вся страна, что вся страна, от самых углов до кремлевских башен, желает ему успеха, морально поддерживает его. Он не мог не ощущать этого мощного дыхания своей великой Родины».

В том же году была принята Конституция СССР. А Союз писателей предлагал такое деление поэтов: первые — только по паспорту, а не по духу советские (к ним в числе прочих отнесли Мандельштама); вторые — «гостящие» в эпохе (сюда определили Пастернака); и наконец — настоящие советские поэты.

Если провести аналогию с шахматами, Левенфиш попадал в первую, в лучшем случае во вторую категорию, в то время как Ботвинник, без сомнения, составлял гордость третьей.

«В девять лет я начал читать газеты и стал убежденным коммунистом. Стать комсомольцем было трудно - школьников почти не принимали. Я долго этого добивался (брат уже был комсомольцем) и наконец в декабре 1926 года стал кандидатом в члены комсомола»,

— писал Ботвинник в своих воспоминаниях. Слова Крыленко о матче с Флором: «Ботвинник в этом матче проявил качества настоящего большевика» — навсегда останутся для него высшей похвалой. Он не предполагал размаха и ужаса террора и гордился сталинскими словами «Молодцы, ребята», сказанными после выигрыша радиоматча СССР — США (1945), и говорил с пиететом о власти имущих

— на самом деле людях ничтожных, а порой — отвратительных. «Шахматы ничем не хуже скрипки», — утверждал Ботвинник, и

поэтому игра в шахматы требует абсолютной тишины. Идеальные условия были достигнуты в Колонном зале Дома Союзов в 1941 году во время матч-турнира на звание абсолютного чемпиона СССР. Ботвинник: «По среднему прохождению гулял блюстителем порядка в милицейской форме. Один раз недисциплинированный зритель был выведен и оштрафован».

«Я не думаю, что Левенфиш был антисоветчик», — сказал Ботвинник, когда я в начале 90-х

годов расспрашивал его о событиях тех лет. И хотя Советский Союз уже не существовал, слово «антисоветчик» он произносил так, что от того веяло холодом 58-й статьи. Определения же «верный ленинец», «старый большевик», «советский» выговаривались им гордо и торжественно, хотя тогда они давно изжили себя и имели прогорклый привкус, который нельзя было заглушить ничем. Впрочем, несмотря на ортодоксальность мышления и категоричность суждений, Ботвинник любил цитировать в близком кругу формулу пушкинского Савельича, советовавшего, как известно, поцеловать у злодея ручку, а потом и сплюнуть.

«Был всегда как одинокий одичалый волк», - говорил Ботвинник в ответ на мои расспросы о Левенфише, а когда я пытался вставить что-то о волке, которого травили и не пускали за «флажки», отвечал, что не уверен, так ли это важно, и неодобрительно качал головой.

«В конце концов ему уж и не так плохо жилось в Советском Союзе», — утверждал он и смотрел на меня сквозь толстые стекла очков. И взор этот выражал: он же выжил, не был репрессирован, был известным человеком в стране, он не бедствовал в прямом смысле этого слова, а в отношении остального — что ж вы хотите, тогда время было такое. И по-своему был прав.

«Не было, не было и быть не могло, чтобы на Левенфиша могло быть оказано давление, дабы он проиграл мне партию», — сердился Ботвинник, когда заходила речь о Третьем московском турнире 1936 года. Видимо, позабыв, как на финише предыдущего турнира, когда они с Флором остро конкурировали, к нему в номер зашел Крыленко и предложил: «Что скажете, если Рабинович вам проиграет?»

На сей раз Капабланка, соперником которого был Элисказес, опережал Ботвинника на пол-очка, но тому предстояла партия с Левенфишем. «Положение ваше затруднительно. Все поклонники Ботвинника жаждут вашего поражения, — говорил Капабланка Левенфишу во время прогулки в саду у Кремлевской стены в день тура. — Не беспокойтесь, я вас выручу и выиграю у Элисказеса». Он действительно выиграл, а партия Левенфиш — Ботвинник закончилась вничью. Рассказывая об этом эпизоде в книге, Ботвинник с плохо скрываемым раздражением употребляет странно звучащий по-русски оборот: «Левенфиш позволил себе распустить слух, что его заставляют проиграть в последнем туре». Но чем больше он сердился и говорил «не было», тем становилось очевиднее: было, было.

На многих страницах его книги можно найти ситуации, когда исход партии предлагалось решить не за шахматной доской, потому что речь шла о престиже советских шахмат и как следствие — всего советского государства. Перед началом московской половины матч-турнира 1948 года Ботвинника вызвали на заседание Секретариата ЦК. Председательствовал Жданов — один из ближайших сподвижников Сталина. В последней редакции книги Ботвинник так рассказывает об этом: «Но все же мы опасаемся, что чемпионом мира станет Решевский, — сказал Жданов. — Как бы вы посмотрели, если бы советские участники проигрывали вам нарочно?» Я потерял дар речи. Для чего Жданову надо было меня унижать? За последние годы я играл в семи турнирах и во всех был первым, продемонстрировав явное превосходство над своими противниками... Снова обретаю дар речи и отказываюсь наотрез. Однако Жданов продолжает настаивать, а я отказываюсь. Беседа оказалась в тупике... Чтобы кончить спор, предлагаю компромисс: «Хорошо, оставим вопрос открытым, может быть, это и не понадобится?» Жданов явно обрадовался возможности такого решения. «Согласен, — сказал он. — Мы ВАМ (на этом слове он сделал ударение) желаем победы...»

Ботвинник искренен и абсолютно уверен в своей правоте, когда неоднократно говорит о своих

письмах, телефонных звонках и обращениях к людям, имена которых знал каждый в стране и мнения которых были выше каких бы то ни было законов. А вот звонок партийного бонзы с целью отложить из-за болезни Таля начало матча-реванша вызывает у него гневную реакцию: «Это вмешательство в шахматы со стороны власти имущего меня возмутило, и я потерял самообладание». Надо ли говорить, что матч-реванш начался точно в срок.

Любая дискуссия о тех временах исключалась. Я натыкался на стену; его мнение, сформировавшееся раз и навсегда, оставалось незыблемым. Если же я настаивал или применял, как мне казалось, сильные аргументы, разговор заканчивался реакцией, аналогичной сталинской во время знаменитого телефонного звонка Пастернаку, когда в ответ на предложение поэта встретиться и поговорить о жизни и смерти вождь просто повесил трубку.

В 1991 году в Брюсселе журналист, уже закончив интервью, спросил его: «Понятно, что вы сейчас не можете бороться за первенство мира, но почему бы вам иногда не попублицевать или не поиграть в шахматы просто так, для своего удовольствия?» — «Молодой человек, — ответил Ботвинник, не глядя на того, — запомните: я никогда не играл в шахматы для своего удовольствия». Вспомнилось кантовское: «Никогда не может быть истинного удовольствия там, где удовольствия превращаются в занятия». В его случае объяснение кажется очевидным: он всегда, даже в молодости, относился резко отрицательно к блицу, шлепанью по доске фигурами, легковесности. Но такое объяснение недостаточно: не для удовольствия играл Ботвинник, но следовал предназначению, считая, что выполняет дело жизни, дело, которое доверила ему Родина.

Книга воспоминаний Ботвинника называется «К достижению цели». Цель в жизни у него была одна: завоевание для своей страны звания чемпиона мира. И он шел к ней, сметая все преграды, но задумывался ли он о смысле?

Об этом — Надежда Мандельштам: «Цель и смысл не одно и то же, но проблема смысла в молодости доступна немногим. Она постигается только на личном опыте, переплетаясь с вопросом о назначении, и потому о ней чаще задумываются в старости, да и то далеко не все, а только те, кто готовится к смерти и оглядывается на прожитую жизнь. Большинство этого не делает».

Книга Ботвинника первоначально носила название «Только правда». События и факты, пропущенные через призму своего «я», казались ему единственно истинными. Слова Руссо: «Может быть, мне случалось выдавать за правду то, что мне казалось правдой, но я никогда не выдавал за правду заведомую ложь» — показались бы ему слишком мягкими. Зато изречение Марко Поло: «Всё, что рассказал о саламандре, — то правда, а иное, что рассказывают, — то ложь и выдумка» — могло бы стать достойным эпиграфом к его книге.

Вместе с тем был он теплым и участливым к тем, кого считал своим другом; требовательным, но опекающим и заботливым, если речь шла об учениках; вежливым и учтивым с окружающими. И те, кто знал его с какой-либо одной стороны, твердо держались за своего Ботвинника.

Он цитировал время от времени русских классиков, которых помнил еще со школьной скамьи. Юмор его был по-детски непритязателен: «Как спали, Михаил Моисеевич?» — «А нисево, нисево...» Одевался скромно, был очень аккуратен и в быту неприхотлив до аскетизма. «Как вы думаете, Геннадий Борисович, сколько лет этим шлепанцам?» На вид домашние тапочки были куплены в Гронинге-не в 1946 году, что, как оказалось, было не так уж и далеко от

действительности.

Гордость за советскую Родину сочеталась у него с безграничным уважением к предметам, приобретенным за границей. Перед турниром в Ноттингеме Ботвинник с женой был несколько дней в Лондоне. «За пять фунтов жена становится владелицей изящного бежевого костюма (ту писес). Сносу костюму не было — двадцать лет спустя его донашивала дочь, когда ходила в туристские походы».

Форсунка для отопления дачи, «но только чтобы обязательно со шведской станиной, только со шведской», бесперебойно работала в течение семнадцати лет, а паровой котел, заменивший ее и купленный в Германии, был настолько высокого качества, что Ботвинник «стал популярен среди сотрудников Одинцовского газового хозяйства». Рассказы о покупках с десяти-, а то и двадцатипроцентной скидкой, умелых переговорах по этому поводу, памятный приезд в Ноттингем: «От пансиона я отказался; шутка ли, неделю платить втридорога за двоих — это было не по моим правилам!» - превращали его в милого советского туриста, которого на мякине не проведешь.

В последней редакции, просмотренной Ботвинником незадолго до смерти, его книга стала называться «У цели», на что Смыслов не без сарказма спрашивал: «А у какой, собственно говоря, цели?» Книга расширена, даны последние события, реабилитирован Бог, пишущийся с большой буквы, как принято сейчас в России. Это звучит диссонансом со всем содержанием, но он покорно согласился на нововведение: «Пусть будет так, хотя мне это совершенно безразлично». Тогда же он сказал: «Да, я коммунист в духе первого коммуниста на Земле — Иисуса Христа». Он был, разумеется, верующим человеком, только верил в некую абстракцию, пропущенную через призму собственного «я», собственного предназначения, собственной правды.

Он — победитель. Он достиг своей цели. Подводя итоги, он сам говорит об этом: «Да, условия, в которых действуют люди, меняются. Они со временем растворяются в истории, а подлинные достижения остаются». Он не растворился и не изменился. На последних страницах книги он всё тот же — ученик 157-й единой трудовой школы Ленинграда, комсомолец Миша Ботвинник. Он совсем не изменился за семьдесят лет, и, слушая его искренний и страстный монолог, задумываешься поневоле над конфуцианским: «Лишь самые умные и самые глупые не могут измениться».

Мнительный и подозрительный, обладавший железной волей и редкой целеустремленностью, сотканный из противоречий, он был в то же время очень цельной натурой. И когда Михаил Ботвинник садился за шахматную доску или писал о шахматах, он становился тем, кем навсегда останется в истории: одним из самых выдающихся чемпионов, поднявшим шахматы на качественно новую ступень всестороннего изучения и глобальной подготовки.

Шахматы, как и всё тогда в Стране Советов, были пронизаны идеологией: инструкциями, обязательствами, лозунгами и призывами. Но по сравнению с литературой, историей, философией или наукой была и разница. Она заключалась в самих шахматах! В честном поединке за доской, в самой игре, правила и принципы которой остаются неизменными на протяжении нескольких веков, игре, о которой Ласкер сказал: «На шахматной доске лжи и лицемерия нет места. Красота шахматной комбинации в том, что она всегда правдива. Беспощадная правда, выраженная в шахматах, ест глаза лицемеру». Поэтому в советских шахматах в отличие от той же литературы не было искусственно созданных авторитетов или раздутых величин, ничтожных писателей, имена которых гремели тогда и полностью забыты

сегодня. Вот почему для Левенфиша, как и для многих до и после него, уход в шахматы означал уход в убежище. В укрытие, где, несмотря ни на какие внешние помехи и факторы, в конечном счете решают твое умение и понимание событий, происходящих на шахматной доске.

Левенфиш стал профессионалом в сорок четыре года — случай, уникальный для шахмат. Конечно, он был уже очень сильным игроком с огромным опытом, но сейчас ему впервые в жизни представилась возможность серьезно заняться шахматами. И результаты не замедлили сказаться: Левенфиш выигрывает (вместе с Ильей Рабиновичем) девятый чемпионат СССР, оставив позади всё молодое поколение: Алаторцева, Белавенца, Кана, Лисицына, Макогонова, Рагозина, Рюмина, Чеховера, Юдовича. Всех, кроме Ботвинника, который в турнире не участвовал.

Затем он играет в двух московских международных турнирах. Хорошие партии чередуются у него с грубыми зевками, нередко в выигранных позициях, как, например, в партии с Чеховером из турнира 35-го года, когда победа на финише выводила его на самый верх турнирной таблицы. Интересно протекают его партии с Ласкером. Две из них заканчиваются вничью, а партию второго круга турнира 36-го года, их последнюю встречу, выигрывает Ласкер, взяв реванш за поражение в турнире 1925 года.

Но Левенфиш встречается с Ласкером не только за шахматной доской. Экс-чемпион мира постоянно живет тогда в Москве. Если инфляция в Германии после Первой мировой войны разрушила его материальное благополучие, то приход к власти Гитлера означает прямую угрозу его жизни. Ласкер всерьез задумывается об эмиграции. Он -сын кантора и внук раввина; не случайно поэтому первая мысль -Палестина. Там уже побывала Эльза Ласкер, бывшая замужем за его старшим братом Бертольдом, берлинским врачом. Вскоре она, значительная немецкая поэтесса, окончательно переселяется в Палестину.

В начале 1935 года начинается обмен письмами между Ласкером и известным еврейским ученым Тур-Синаем, которого Ласкер знал еще по Германии под фамилией Турчинер. Речь идет о предоставлении Ласкеру ставки профессора математики в Хайфском Технионе. Дело это, однако, непростое, возможности Техниона ограничены, к тому же в Палестину хлынул поток еврейских беженцев из Германии с университетским образованием и высоким интеллектуальным уровнем. Переговоры заходят в тупик.

Но есть еще одна страна, где Ласкер не раз бывал и о которой сохранил самые лучшие воспоминания. Это — Россия. Конечно, сейчас она превратилась в Советский Союз, но разве не писал «Шахматный листок» еще зимой 1924 года: «Привет величайшему шахматному мыслителю Эмануилу Ласкеру, первому заграничному гостю в шахматной семье СССР»? Разве не встречали его тогда, как никогда и нигде в Европе?

Он помнит очень хорошо и турнир 25-го года: толпы восторженных болельщиков, конную милицию, с трудом сдерживающую напор толпы, безуспешно пытавшейся проникнуть в гостиницу «Метрополь», гром аплодисментов, крики «Браво, Ласкер!», когда он спускается со сцены. Помнит, как Капабланка проводил в Кремле сеанс одновременной игры, в котором принимали участие члены советского правительства. И Ласкер принимает решение: после турнира 1935 года он остается в СССР.

Престарелому шахматному королю были оказаны в Москве поистине королевские почести. Вскоре, однако, наступили будни. Внешне всё выглядит очень пристойно: Ласкер — сотрудник Института математики Академии наук СССР, он зачислен тренером сборной страны. Он

выступает еще время от времени с сеансами и лекциями; на его лекции в Ленинградской филармонии об итогах матча Алехин — Эйве зал переполнен. Но постепенно его окружает тишина. Вследствие языкового барьера общение его ограничено только очень узким кругом людей. Они с женой пытаются учить русский язык, но легко ли это, когда тебе уже под семьдесят. Но дело было, конечно, не только в языке. Смертельная опасность общения с иностранцем была очевидна тогда для каждого гражданина СССР, поэтому те несколько человек, которые осмеливались заходить к нему, наверняка находились под абсолютным контролем НКВД. Он оказался в вакууме.

Это был самый разгар Большого террора, и узкий круг, который окружал Ласкера, постепенно редел. Без сомнения, телефон его прослушивался, а домработница Юлия должна была доносить о каждом шаге и каждой встрече его. Тот факт, что он стар и является мировой известностью, не мог служить никакой гарантией в те сюрреалистические, оруэлловские времена, когда следователь НКВД мог заявить еврею-заключенному, вырвавшемуся из фашистского ада, что «еврейские беженцы из Германии - это агенты Гитлера за границей». В здании, где Ласкер еще несколько месяцев назад играл в шахматы, вереницей шли показательные процессы, и шапки всех газет единодушно требовали: смерти.

Мог ли не понять Ласкер того, что понял в те дни Андре Жид: «Не думаю, чтобы в какой-либо стране сегодня, хотя бы и в гитлеровской Германии, сознание было так несвободно, было бы более угнетено, более запугано, более порабощено»? Мог ли он не догадываться о происходящем, сам сказавший однажды: «Можно заблуждаться, но не следует пытаться обманывать самого себя!»

В октябре 1937 года Ласкер, проведя в Советском Союзе в общей сложности около полутора лет, уедет в Америку. Формальный повод — повидаться с дочерью жены от первого брака. В воспоминаниях, опубликованных после смерти мужа, Марта Ласкер говорит об этой поездке как о небольшой экскурсии с непременно возвращением в Москву. Однако со стороны это похоже скорее на бегство.

В Нью-Йорке его ждала другая жизнь. Не было государственной квартиры, не было и должности тренера сборной страны — фактически оплачиваемой синекуры, и уж точно не было нарядов конной полиции, сдерживающей напор зрителей, стремящихся посмотреть на участников нью-йоркского турнира 1940 года, его последнего турнира в жизни. Зато в Америке он получил взамен кое-что другое: язык, который знал с юности, человеческие отношения, к которым привык, возможности сказать и написать то, что он действительно думает. Свободу.

В 1937 году Левенфиш снова выигрывает первенство страны. И снова в турнире не участвует Ботвинник. Он вызывает Левенфиша на матч. Матч заканчивается вничью, и Григорий Яковлевич сохраняет звание чемпиона СССР. Это его звездный час, и он мечтает о международном турнире. Ботвинник играл за границей уже дважды — в Гастингсе и Ноттингеме, да и Рагозину, успехи которого были много бледнее, чем у Левенфиша, было позволено сыграть в Земмеринге.

Но не спортивные успехи явились решающим фактором в определении советского участника АВРО-турнира. Личные контакты Ботвинника, знакомства в самых высших сферах, его молодость и политическая лояльность, наконец, установка «советским шахматам нужен только один лидер» решили дело однозначно: на турнир поехал Ботвинник. Сам он скажет впоследствии ясные, но и жестокие слова: «В жизни мне повезло. Как правило, мои личные интересы совпадали с интересами общественными - в этом, вероятно, и заключается

подлинное счастье. И я не был одинок — в борьбе за общественные интересы у меня была поддержка. Но не всем, с кем я общался, так же повезло, как и мне. У некоторых личные интересы расходились с общественными, и эти люди мешали мне работать. Тогда и возникали конфликты».

Сергей Прокофьев, будучи страстным любителем шахмат, не всегда оставался в роли наблюдателя или пассивного болельщика. Время от времени он выступал в качестве шахматного журналиста. Его заметка, написанная для ТАСС об АВРО-турнире, никогда не увидела света. Вот один из абзацев: «Можно еще многое сказать о других участниках, но мне хотелось бы упомянуть тут об одном советском шахматисте, который, хотя и не сражается в Амстердаме, мог бы там произвести немалые разрушения. Я имею в виду Левенфиша, проявившего исключительные боевые качества в ничейном матче против Ботвинника».

Но не только Левенфиша не было в Амстердаме. Не пригласили и Ласкера, окончательно списанного в старики. Комментарий Тар-таковера: «Все-таки даже полуживой Ласкер играет не хуже любого другого силача, да и приглашение Левенфиша (на котором настаивал Капабланка в переговорах с организаторами турнира!) тоже было резонным».

Вероятно, так оно и было, но я думаю, тем не менее, что ни Ласкер, ни Левенфиш не смогли бы составить конкуренцию молодому поколению - победителям турнира Кересу и Файну и занявшему третье место Ботвиннику.

Статью об итогах АВРО-турнира написал Левенфиш. Несмотря на горечь и несбывшиеся надежды, он, как всегда, предельно объективен. Очевидно, что Григорий Яковлевич очень хорошо понимал, какой огромной, всепокрушающей силы шахматистом был Ботвинник. Отдавая должное его игре, он пишет: «Особенно следует остановиться на партии Ботвинник — Капабланка, которой был бы обеспечен приз за красоту в любом международном турнире. Это художественное произведение высшего ранга, которое войдет на десятки лет в шахматные учебники. Такая партия, на мой взгляд, стоит двух первых призов и свидетельствует о дальнейшем росте советского гроссмейстера, являющегося теперь бесспорным претендентом на борьбу за мировое первенство».

Но для Левенфиша эта несостоявшаяся поездка в Амстердам означала крах всего. Вот как он сам оценивал это много лет спустя: «Я считал, что победы в девятом и десятом первенствах СССР и ничейный результат в матче с Ботвинником дают мне право на участие в АВРО-турнире. Однако на этот турнир, вопреки всем моим надеждам, меня не командировали. Мое состояние можно было определить как моральный нокаут. Все усилия последних лет оказались напрасными. Я чувствовал себя уверенным в своих силах и, несомненно, боролся бы с честью в турнире. Но мне исполнилось 49 лет, и было очевидно, что будущие годы отрицательно скажутся на силе моей игры и что я теряю последнюю возможность проявить себя. Я поставил крест на своей шахматной карьере и, хотя в дальнейшем участвовал в нескольких соревнованиях, только в редких случаях играл с подъемом и спортивным интересом».

О тех далеких годах вспоминают Бронштейн, Тайманов, Смыслов. Они знали Левенфиша, когда были молоды, но по-настоящему смогли оценить только сейчас, когда сами пересекли семидесятилетний рубеж. И взглянув на человеческую жизнь в полном ее объеме, а не только через призму чемпионских регалий, титулов и званий.

Давид Бронштейн: «Я следил за партиями Левенфиша еще совсем ребенком. В 37-м или 38-м году он приезжал к нам в Киев и останавливался в «Континентале». И я с другими мальчиками

пришел к гостинице, чтобы проводить его на сеанс во Дворец пионеров.

Конечно, он был выдающийся гроссмейстер, и игрок очень глубокий, и аналитик блестящий, но тогда ведь было другое время, другая игра. Чтобы по-настоящему понять, как он играл, надо его партии посмотреть, ведь поколение, идущее на смену, судит о предыдущем только по дебюту. Я и сам так смотрел, а сейчас тем более смотрят, ведь от дебюта теперь фактически всё зависит...

Помню, Григорий Яковлевич мне говорил, что Капабланка ему лично прислал приглашение на АВРО-турнир, но вмешался в дело Ботвинник; он ведь был как молотобоец, стоял в кругу и махал молотом вокруг головы, всех разгоняя. Вот всех и разогнал».

Марк Тайманов: «Левенфиш был моим главным учителем в ленинградском Дворце пионеров. Занятия Григорий Яковлевич вел тщательно, было у него много собственных анализов и записей, я это оценил позже, когда стал заниматься у Ботвинника. Он вообще никогда ничего не показывал. Более того, он давал задания по критическим дебютным позициям своим ученикам и неделю или две на анализ. После чего сопоставлял их выводы со своими и применял вариант на практике. Да он и не скрывал этого: после того как выиграл чемпионат Союза, поблагодарил своих учеников, оказавших ему помощь в подготовке.

Помню свою первую с ним партию в чемпионате Ленинграда, когда я предложил ничью в примерно равной позиции. «Молодой человек, - ответил Левенфиш, - вы должны подождать, пока я вам предложу ничью, ведь я много старше вас». Тогда я робко так сказал: «Получается, что мне и некому предлагать ничью в этом турнире, ведь все старше меня». Он засмеялся, и через несколько ходов партия закончилась вничью.

Вершиной его творческих достижений, безусловно, является матч с Ботвинником, здесь он развернулся вовсю. Григорий Яковлевич был шахматистом настоящего масштабного мышления и стратегом глубоким, что в этом матче и показал. Человек он был саркастичный и малокоммуникабельный».

Василий Смыслов: «Партии матча Левенфиш — Ботвинник я и сейчас помню хорошо. Был Григорий Яковлевич тогда в блестящей форме и играл замечательно, и матч не проиграл, и звание чемпиона сохранил. А ведь известно, что тот чемпионат страны был рекомендательным для отправки на АВРО-турнир. Но отправился тогда Михаил Моисеевич куда надо, а у Григория Яковлевича не было столь высоких знакомств, это и сыграло решающую роль. К тому же Ботвинник был очень правильный молодой человек, а Левенфишу к тому времени уже под пятьдесят было; хотя, нет слов, хорошо играл тогда Михаил Моисеевич, но я о правовой стороне вопроса говорю... Да уж, конечно, невыездной был Григорий Яковлевич оттого, что войной пошел на Михаила Моисеевича, опрометчивый поступок совершил. Потому и комментировал он партии, которые я у Ботвинника выигрывал, что и говорить, с немалым удовольствием...

С большим интересом наблюдал я за Левенфишем, когда играл с ним уже сам в ленинградском турнире 1939 года. Был он для меня примером во всех смыслах. Играл и в том турнире и Керес с Решевским. Официально он назывался тренировочным. Решевский спросил еще тогда, отчего турнир называется тренировочным. Ему сказали — оттого, что призов нет, вот оттого и тренировочный. Помню еще, играл Левенфиш с Флором и в эндшпиле грубо ошибся и проиграл, хотя техника у него была вообще высокая. Тогда из публики спросили еще: а почему вы здесь так не сыграли, пассивно обороняясь? А он в сердцах так отвечал: что же я, до утра



здесь играть буду, что ли... Но уже через пятнадцать минут сел за другую отложенную, с Ильей Рабиновичем, и выиграл. И был уже в благодушном настроении. Вижу, как сейчас, его за анализом, фигуркой так пристукивал, так, мол, и так, так и этак. Мог и вспылить Григорий Яковлевич, эмоционален был. Был он игрок, и игрок зачастую азартный, в отличие от Романовского, который больше был романтиком, педагогом, методистом, учениками был окружен. Понимал ли он, что такое советская власть и в каком государстве живет? Всё, всё прекрасно понимал Григорий Яковлевич, и лучше многих еще понимал».

Это был последний международный турнир, в котором играл Левенфиш. Международным, впрочем, его можно было назвать весьма условно: иностранцами являлись фактически только Керес, выступавший за пока еще независимую Эстонию, да американец Решевский. Флор же и Лилиенталь уже жили в Советском Союзе, который был представлен еще четырнадцатью участниками. Но даже с этим «условным» международных турниров набралось у Левенфиша всего пять за всю карьеру: еще три московских и тот далекий памятный в Карлсбаде. Его шахматная карьера фактически закончена. В девяти предвоенных чемпионатах страны он дважды был первым, два раза вторым, три раза третьим. Он играл с шестью чемпионами мира. Баланс таков: с Ласкером, Эйве, Алехиным - счет равный, Капабланке одну партию проиграл, у Смыслова одну выиграл, а противостояние с Ботвинником дало небольшой перевес последнему: +8—6=8.

Вскоре началась война, и Левенфиш был вынужден снова на несколько лет отказаться от шахмат. Нельзя сказать, что шахматная жизнь в стране полностью заглохла в эти годы. В 1943 году состоялся сильный двухкруговой турнир в Свердловске с участием Ботвинника, Смыслова, Болеславского, Рагозина. А вот Левенфиш решил не играть. «Приглашали меня в Свердловск на шахматный турнир, — писал он дочери в марте, — но я отказался. Не представляю себе, как можно сконцентрировать в наше время внимание на одной шахматной доске. А без такой концентрации нельзя добиться хорошего результата». Выиграл тот турнир Ботвинник, победивший в микроматчах всех своих соперников и смотревший на события уже через призму борьбы за мировое первенство: «Во время войны с нацистской Германией задачей советских шахматистов являлось не только сохранение того, что было создано в предвоенное время — массовое развитие шахмат и высокий уровень игры лучших мастеров, — но и подготовка к тому, чтобы после войны добиться завоевания первенства мира».

Длительный отрыв от игры, пошатнувшееся здоровье и возраст — ему уже исполнилось пятьдесят пять — определили уход Левенфиша из больших шахмат. «Тяжелые годы Отечественной войны и работа на заводе окончательно подорвали мое здоровье, — вспоминал он. — Я уже не в силах был выдерживать напряжения борьбы в длительном состязании. Я мог провести неплохо отдельную партию, но затем утомлялся и отдавал очки без боя». Сразу после войны Левенфиш возвращается в Ленинград. Здесь его впервые увидели совсем молодые Корчной и Спасский.

Виктор Корчной: «Я ходил к нему заниматься в 1946 году — было мне пятнадцать лет; помню еще, смотрели мы каталонскую... Вижу его хорошо и в клубе, играющим в винт — это русский вариант бриджа. Произвел он на меня тогда впечатление человека очень высокой культуры, остроумного и развитого во всех отношениях. Но что это человек из другого мира, я понял, когда узнал Ботвинника; тогда я начал сравнивать. И сравнение это было не в пользу Ботвинника, который на фоне Левенфиша казался человеком неглубоким, и юмор у него был какой-то мелкотравчатый. И был Ботвинник таким советским интеллигентом, которых насаждали, в отличие от Левенфиша, интеллигента по крови и по воспитанию

дореволюционному, которых большей частью уничтожали. Он видел вещи шире, мыслил по-другому, иностранными языками владел...

Пиком его карьеры можно считать матч с Ботвинником, после чего он должен был поехать на АВРО-турнир. Но Ботвинник пошел куда следует, и всё стало на свои места, и не поехал Левенфиш ни на какой турнир. Такие люди, как Левенфиш, так бы никогда не поступили; в этом смысле я и Таля очень высоко ценю, потому что он — один из немногих, кто такое оружие тоже никогда не применял.

Как шахматист был Левенфиш, конечно, тактиком. Разумеется, он владел всеми методами борьбы, но как тактик был особенно силен. Нет, он не был желчный человек, у него было резкое чувство юмора, но желчный — нет. Меня он, во всяком случае, не обижал никогда. Я выиграл у него несколько партий, но он достойно вел себя после поражений, корректен оставался всегда, хотя я был тогда мальчишкой по сравнению с ним.

Но и он у меня фантастическую партию выиграл в 53-м году. Нанес колоссальный тактический удар, написал еще потом в примечаниях, что такой, мол, Корчной тактик отличный, а вот удар просмотрел...»

Борис Спасский: «Левенфиш произвел на меня огромное впечатление, когда во Дворце пионеров показывал партию Алехин — Эйве, блестяще выигранную Алехиным. И партию эту я навсегда запомнил, и манеру, в которой он ее показывал, доступную и скромную. И шахматисты это чувствовали и очень уважали Григория Яковлевича. А вот Ботвинника, наоборот, терпеть не могли, кроме, разумеется, тех, кто его лично не знал, а оглушен был фанфарами или черпал информацию только из газет. И манера изложения Ботвинника была подавляющая, безапелляционная. И как Левенфиш к нему относился — понятно; когда молодой Миша у Ботвинника матч выиграл, радовался Григорий Яковлевич очень, и не только потому, что Таль свежую струю в шахматы внес.

Зак ведь хотел меня сначала Левенфишу передать, и у меня встреча с ним была. Было всё это в 1951 году, мне тогда было четырнадцать лет; помню, партии ему свои показывал, варианты, горячился очень, совсем как молодой Каспаров. Мы ведь все гениями были в молодые годы. И еще раз был после этого у него и смотрел на него во все глаза...

Он обладал огромным природным талантом и игроком был выдающимся. Левенфиш ведь в 37-м году Ботвиннику матч не проиграл, а тот ведь тогда в расцвете сил был. Инициативу чувствовал прекрасно, играл по позиции, но тяготел к тактике. Поведения за доской был безукоризненного — по части разговоров, полуподсказок, некорректного предложения ничьей; терпеть этого не мог. Это уже потом, после него, росло новое поколение, шпанистое. С болтовней во время игры, сплетнями и всё такое...

А то, что был он жесткий, колючий на словах, то как ему было не быть колючим, когда его советская жизнь фактически уничтожила. В душе же был отзывчивый и очень тонкий. Все его уважали очень, и не случайно первый вопрос, который мне Богатырчук в Канаде в 1967 году задал, был о Левенфише. Узнав, что Григорий Яковлевич вот уже несколько лет как умер, он сказал: «Жалко. Мы ведь так хорошо понимали друг друга». Таких, как Левенфиш, были единицы. Всё, что я о нем знаю, это только хорошее, и представить себе не могу, чтобы о нем что-либо, кроме хорошего, можно было сказать. Сделал он для меня великое дело: когда я мальчонкой еще был, стипендию мне пробил. Одно слово — светлая личность. Но и трагическая. Был он настоящий шахматный великомученик. Я бы и название такое дал для

статьи о нем: "Шахматный великомученик". Сохранил я к нему огромное уважение на всю жизнь».

В 1947 году Левенфиш в качестве запасного игрока едет в Лондон, чтобы принять участие в матче СССР — Англия. Это был первый его выезд за пределы Советского Союза. Кроме неприятностей, он ему ничего не принес. Конечно, Левенфишу было приятно получить презент — золотые часы — и письмо от племянника, давно жившего за океаном: «Дорогой дядя! В Америке Вас знают и ценят как выдающегося шахматиста...» Но если часы и письмо были переданы ему со всеми мерами предосторожности, то другая сцена произошла прямо у всех на глазах.

В жизни случается иногда, что события маловажные, незначительные имеют для нас неожиданные, далеко идущие последствия. В 1910 году в Вильно Левенфиш играл матч с шахматистом по фамилии Лист. Как утверждал сам Лист, его настоящая фамилия была Одес и родом он был тоже из Одессы. Чтобы избежать путаницы с получением писем (Одесу в Одессу), он изменил свою фамилию. Как бы то ни было, матч закончился вничью и почти стерся в памяти Левенфиша. Спустя тридцать семь лет в Англии он повстречал старого знакомого, радостно бросившегося ему навстречу. Сцена эта не осталась незамеченной ни для руководителей советской команды, ни для кое-кого из гроссмейстеров, оповещавших обо всем предосудительном органы госбезопасности. Поведение советского гражданина за границей всегда было строго регламентировано, здесь же нарушение было налицо: старая связь и контакт с представителем капиталистической страны. Левенфиш вспоминал позднее в доверительных беседах, что у него были «большие неприятности». Больше за границу он не выезжал. Вскоре он переехал в Москву, но и здесь его ждали нелегкие времена.

Александр Константинопольский: «Со стороны спортивных властей Левенфиш постоянно встречал предвзятое, а то и недоброжелательное отношение. Он был колюч на язык, любил резать правду-матку, а это не могло нравиться».

Единственный из советских гроссмейстеров он не получал стипендию. «Жил он очень бедно, — вспоминает известный шахматный мастер и литератор Яков Нейштадт, - в комнате с дровяным отоплением в коммунальной квартире. Иногда его можно было встретить в Артистическом кафе напротив МХАТа. И здесь он выделялся по осанке, манерам, умению вести беседу. Он очень нуждался, но никогда ни на что не жаловался. Левенфиш был, конечно, аристократом по духу и воспитанию. Известно ведь, что одно из преимуществ быть аристократом заключается в том, что аристократизм дает человеку силы лучше выносить бедность».

Василий Смыслов: «Высокоинтеллигентный человек был Григорий Яковлевич, а жизнь вел бедную. Трудную жизнь. Был он загнан жизнью и нуждался материально. Выступал он во многих местах, чтобы деньги заработать, и на старости лет был вынужден это делать. Относился он ко мне с большой теплотой, да и я любил его очень».

Уже в последние годы пришел он ко мне как-то с кипой листов — рукописью своей книги по ладейному эндшпилю, попросил проверить. И провели мы с ним так много дней под лампой из северского фарфора за анализом, за разговорами. Это он сказал, что фарфор северский; я знал, что лампа старинная, а вот Григорий Яковлевич сразу определил. Я проверял его анализы, где и уточнял, но всю черновую работу он сделал. Единственный раз не могли прийти к соглашению, как написать: обрезанный король, отрезанный король — смеялся всё Григорий Яковлевич...

До сих пор сердце грызет, что не был на похоронах его. Помню, была отложенная позиция, кажется с Хасиным, я доигрывал ее в день похорон, всё пытался выиграть да и не выиграл, конечно. Вот до чего тщеславие-то доводит.

А то, что с Ботвинником вничью матч сыграл, когда тот был в самом соку, свидетельствует о его высочайшей технике и мастерстве. Выдающегося был таланта человек. И память о себе оставил самую светлую».

В этот период Левенфиш много занимается литературной деятельностью. Еще в 1925 году появился его учебник для начинающих, а в 1940-м под редакцией Левенфиша выходит монументальный «Современный дебют», явившийся прообразом нынешней Энциклопедии шахматных дебютов. Его издание прервала война, вышел только первый том, посвященный открытым началам. В сущности, это была первая вручную набранная база данных! Разница заключалась в том, что Левенфиш словами объяснял то, что скрыто сегодня за бездушными значками, стремясь ответить на вопрос, наиболее важный для изучающего: почему?

Его мысли о начальной стадии партии, высказанные более полувека назад, звучат на редкость актуально: «Изучение дебютных систем достигло такой высокой степени развития, что переход в миттельшпиль, а иногда и в эндшпиль предопределяется разыгрыванием дебюта. Поэтому подчас никакая изобретательность в миттельшпиле не может компенсировать дебютных погрешностей. Однако не следует превращать дебют в какой-то фетиш и всю свою энергию тратить на изучение дебютных систем».

Помимо этого фолианта Левенфиш написал еще несколько книг и немалое количество статей. Книга «Теория ладейных окончаний», плод его совместной работы со Смысловым, до сих пор считается одним из лучших справочников по эндшпилю. Для манеры изложения Левенфиша характерны ясность мысли, короткие, отточенные фразы, четко передающие смысл, высокая культура слога. Все эти качества в сочетании с неизменной доброжелательностью и юмором еще лучше проявлялись, когда он читал лекции или просто вел занятия. Романовский утверждал: «Попытки ассоциировать шахматное мастерство с мастерством педагогическим - великое заблуждение. Сочетание высокой педагогики и большого мастерства имеется только у одного человека — это у Левенфиша».

Но Левенфиш пишет не только о проблемах совершенствования шахматиста или на теоретические темы. В майском номере журнала «Шахматы в СССР» за 1950 год появилась его рецензия на недавно вышедший сборник избранных партий Ботвинника. Скорее даже это была не рецензия, а статья, выражавшая взгляды Левенфиша на творчество не только Ботвинника, но и Чигорина, Алехина, Рубинштейна, на отношение общества к шахматам и на то, что понималось под «советской шахматной школой». Он писал ее в то время, когда отсутствие свободы печатного слова было само собой разумеющейся частью бытия, но он, прямой и эмоциональный, сохранил свойство говорить и писать то, что думал. С постоянной оглядкой, разумеется, на границы, которые не могли быть перейдены ни в коем случае.

Проследив путь тогдашнего чемпиона мира, Левенфиш писал: «В 16 лет Ботвиннику присуща трезвость и, можно сказать, сухость шахматного мышления, аналитический талант, самокритичность, трудолюбие и большая теоретическая эрудиция — он уже сложившийся мастер с определенными вкусами. Ботвинник быстро ликвидирует погрешности первых лет — тактические просчеты, углубляет понимание позиционных тонкостей, улучшает технику эндшпиля и к 20 годам завоевывает первенство СССР. В 25 лет Ботвинник уже победитель международных турниров и претендент на мировое первенство». И далее: «В чем же главная

сила Ботвинника? В чем секрет его побед над сильнейшими шахматистами мира?.. Неизбежно напрашивается вывод, что до сих пор противники чемпиона мира не смогли разрешить первую основную задачу — противопоставить дебютной стратегии Ботвинника равноценную и поневоле переходили в середину игры с худшими возможностями. Но и в этой стадии партии мастерство Ботвинника стоит на весьма высоком уровне. Техника накопления мелких преимуществ и превращения их в победу напоминает лучшие партии Рубинштейна и Капабланки». И вывод: «Книга Ботвинника — это торжество силы, логики и анализа. Показательно, что даже когда он идет на обоюдоострые варианты, к которым противники заранее готовятся, — и тогда анализ Ботвинника торжествует».

Такая характеристика его творчества чрезвычайно задела Ботвинника. Хотя и позитивная, она выделялась в сплошном панегирическом хоре, раздававшемся со страниц всех изданий того времени и объявлявшем Ботвинника прямым наследником Чигорина и Алехина (но и сейчас, годы спустя, она, как мне кажется, очень точно и объективно рисует портрет одного из самых значительных чемпионов за всю историю игры). Однако прежде чем ответить самому, Ботвинник дал возможность выступить Романовскому и Рохлину. Если первый ограничился в основном теоретическими и историческими экскурсами, то Рохлин обрушил совсем другие аргументы: «На протяжении многих лет Левенфиш не смог увидеть в творчестве Ботвинника и других молодых советских мастеров того принципиально ценного и оригинального, что открывает в наши дни новую главу в истории шахмат... Не случайно мы подчеркиваем научный подход к шахматам как отличительную черту советской шахматной школы. В этом отношении Ботвинник, как новатор шахматной мысли, подобно многим другим деятелям советской культуры, хорошо помнит замечательные слова товарища Сталина о науке, которая "не признает фетишей, не боится поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу опыта, практики"». Вслед за этим последовали реплики и других, менее известных. Околошахматная грязь была всегда, во все времена, но в те нешуточные она приобрела особый, зловещий оттенок.

Последнее слово произнес сам чемпион в статье «По поводу трех выступлений» с подзаголовком, типичным для тех времен «В порядке критики и самокритики». Он писал, что «не о "проблеме Ботвинника" должна идти речь, а о советской шахматной школе». И далее: «Советские мастера, перед которыми была поставлена нашей партией, советским народом серьезная цель - завоевание первенства мира, могли ли развивать подобные "творческие" тенденции? Конечно, нет. Мы должны были побеждать иностранных мастеров, и побеждать наверняка... Гроссмейстер Левенфиш игнорирует эти факты, игнорирует и советскую шахматную школу — очевидная и принципиальная ошибка рецензента».

После аргументов такого калибра, хорошо знакомых Ахматовой и Пастернаку, Шостаковичу и Прокофьеву, какие-либо дискуссии исключались, и можно было ожидать только последствий. В обществе, где в жертву понятиям абстрактным приносились живые существа, реакция могла последовать самая суровая; участь Дефо, стоявшего триста лет назад за свои политические памфлеты в Лондоне по часу в день у позорного столба, могла бы показаться завидной. К счастью, дело кончилось только проработками, и было удивительно, что против него не были предприняты более суровые меры.

Последние годы Левенфиша прошли в работе — писании статей и книги — и в нужде. Пришла старость, но жила еще боль от прожитой жизни. За все эти годы он закалился и как бы окаменел и тоже мог бы сказать: «Я здоров, пока сердце выдержало даже то, чего я не описал».

В 1961 году Борис Спасский играл в первенстве СССР. В один из последних дней января в

подземелье московского метро он увидел Левенфиша: «Постаревший, бледный, как привидение, он шел, держась руками за лицо. "Мне только что удалили шесть зубов", — только и мог сказать он...»

Через несколько дней Григорий Яковлевич Левенфиш умер.

Вспоминая московский турнир 1936 года, Ботвинник писал, что стояла такая сильная жара, что он переутомился и страдал от бессонницы. Но от бессонницы страдал не только Ботвинник. Не спал и Ласкер: живя в Германии, он привык засиживаться допоздна в шахматных кафе, в Москве же такой образ жизни был невозможен, а на склоне лет нелегко менять привычки. Довольно часто к нему заходил Левенфиш, и они проводили долгие вечера за шахматами или в разговорах. Иногда, уже глубокой ночью, Ласкер предлагал: «Пойдемте пить кофе». — «В Москве? В это время?» — пытался вернуть его к реальности собеседник. «Пойдемте, пойдемте, я знаю местечко, — доктор заговорщицки улыбался, — буфет на Киевском вокзале открыт до трех часов ночи».

Два человека с характерной внешностью идут спящим городом. Два символа времени, проживших большую часть жизни в городах, названия которых олицетворили историю 20-го века: Берлин и Петербург—Ленинград. Через три года начнется Вторая мировая война. Еще двумя годами позже Ласкер умрет в Нью-Йорке. Он никогда больше не увидит страну, в которой прожил почти всю жизнь. Левенфиш переживет его на двадцать лет и умрет в Москве. Несмотря на погромы, инфляции, войны и революции, несмотря на жестокие режимы, установившиеся в странах, где они жили, оба они перешагнут отмеренную границу библейского возраста - семидесяти лет.

Но сейчас они еще не знают этого.

Они пьют кофе. Они разговаривают по-немецки.

Москва. Киевский вокзал. Ночь. Жаркое лето 1936 года.

В августе 1991 года, когда Ботвиннику исполнилось восемьдесят, он был в Брюсселе. Спустя несколько дней он приехал в Амстердам. Туристское лето еще не кончилось, и такси продвигалось медленно по направлению к центру, пока окончательно не остановилось у Монетной башни.

Посмотрите, Михаил Моисеевич, — сказал я, — налево цветочный рынок, а прямо на углу — отель «Карлтон». Когда Эйве исполнилось восемьдесят лет, здесь был большой прием. Макс так замечательно выглядел, кто бы мог подумать, что уже через несколько месяцев...

Геннадий Борисович! — Ботвинник сидел рядом с шофером и смотрел прямо перед собой. — Я был в гостинице «Карлтон» в 1938 году. Вас тогда еще на свете не было. На следующий день после окончания АВРО-турнира мы пили там чай с Алехиным и договаривались об условиях матча на первенство мира... М-да, дела давно минувших дней, — он вздохнул, — преданья старины глубокой.

Машина тронулась.

Август 2000